

Полина БАРСКОВА

*Эвридей и Орфика*

стихотворения

ПУШКИНСКИЙ ФОНД  
Санкт-Петербург • ММ



Звридей и Орфика, кокетно, - одно.  
Раздвоение - школьный приём.  
Моя толкает себя на железное дно  
И себя же с обрыва звал.  
Моя увозит себя в тридцетую статью,  
И оттуда, бесшумно хрипя,  
Из оставленных нами садов и пустынь  
Наугад восклицала себя.  
Мы ласкаем, пытаем, пытаем, ласка...  
Моя, Жюльетте с Ужасинтой вослед,  
Выбираем то пластье, в котором тоска  
Скрыта, как в человеке скелет.  
Так вот нас отпускают из Царева Тёкля  
Как кременов психушки - в кино.  
Только дни всё короче, а ноги длинней  
а за лето хоть так же тепло,  
Но зато эту тьму шугает Сиф,  
Наша мамка, кумир и главлорд...

**Полина БАРСКОВА**

*Эвридей и Орфика*

с т и х о т в о р е н и я

**ПУШКИНСКИЙ ФОНД**  
**Санкт-Петербург · ММ**

**Б 26**  
**ББК 84. Р7**

**Марка издательства работы**  
*Сергея Семенова*

**ISBN 5-89803-049-2**

**© П. Барскова, 2000.**

*NAME*

## ОТ АВТОРА

В феврале 1976-го года я родилась в Ленинграде, в семье филологов-востоковедов. В восемь лет начала писать стихи и скоро попала в литературную студию под руководством В. А. Лейкина. Первые публикации относятся к 1985 году. Успела насладиться скромной славой советского вундеркинда: мои стихи публиковали в «Ленинских искрах», «Пионере», «Костре», я ездила на зарубежные форумы юношеского творчества. Так весной 1994-го года провела неделю в Эльсиноре.

Первая книга, «Рождество», вышла в 1991 году в Петербурге в издательстве «Nota Bene», за ней последовали «Раса брезгливых» (Москва, «Вавилон», 1993) и «Memory» (Копенгаген, «After Hand», 1996).

Закончив классическое отделение филфака СПбГУ, я поступила в аспирантуру Калифорнийского университета в Беркли, где работаю над диссертацией «Судьбы русской античности: 1900–1935».

Стихи, вошедшие в эту книгу, были написаны за последние шесть лет, большинство из них публикуется впервые.

*28 марта 2000*

**I**



## РОВЕСНИКИ

очухивается ото сна — продирает глаза —  
открывает книгу стихов —  
отталкивается ото дна безмыслия интеллектуальным шестом —  
стихотворение быстро кончается — она глазает на дату.  
Это произошло в 1976-м:

Блаженная дикая Муза

Отдалась солдатку

Прекрасного фронта. И поплыло дитя

В корзинке из листьев лавровых по знаменитой речке,

То есть по Лете, подрагивая, пыхтя,

Как делают все обиженные человечки.

Потом — спасенье чудесное, подвиги, сотни глаз,

Ковыряющих эти буквы, как зуб дырявый

Ради канальца, который связал бы нас,

Изнеможённных читателей, с пульсирующей славой.

Стих отдавался всякому, корчась, тряся хвостом,

Словно рюмочный чертик, дрожа, маня.

Голым субботним утром он приобрел меня,

Тоже родившуюся в тысяча девятьсот семьдесят шестом.

Так явно и оскорбительно были мы неравны,

Как вертолет — и бабочка, тюльпан — и луковый суп.

Стих — как пузырь, поднявшийся с глубины,

Из выпустивших на волю последнее слово губ.

Стих был священной горою, и я сидела внизу,

Наслаждалась пейзажем, тяжелые сняв ботинки,

А он, размером с лавину, катил на меня слезу,

Обрекая на гибель почетно-сладкую в поединке

С равнодушной стихией расставленных кем-то слов —

Той, что стирает жизни персон и наций,

Чтобы всегда стояли точка и апостроф,

Чтобы орал Шекспир и молчал Гораций.



Что-то распалось, исчезло, ушло, изменилось  
Между тобою и мною, моя дорогая.  
Детской игры легкомыслия мелкая милость  
Нас предала и теперь, удивленно моргая,  
Смотрит на нас, вспоминает — а были ль мы близки,  
Были ль единою плотью, корою, листвою?  
Вот, занесла нас Судьба в непохожие списки —  
Значит, ее унижений я больше не стою;  
Значит, ночами не ждет нас Михайловский замок;  
Значит, собака твоя не ликует при встрече;  
Значит, своими огромными псевдослезам  
Я не хочу холодить твои быстрые плечи.  
Я не хочу твоих губ в деловитой усмешке —  
Или хочу, но они ускользают в забвенье.  
Ты же, по-прежнему, как золотые орешки,  
Щелкаешь наши слова и смакуешь мгновенья.  
Ты же, по-прежнему, та же, и всё в тебе то же —  
Всё, что бесценно, опять продаешь за бесценок.  
Так же пускаешь прохожих на шаткое ложе  
Ради придирчивых и равнодушных оценок.  
Да и во мне, милый друг, изменилось немного.  
Рыхлое, слабое сердце, смешная походка,  
Так же меня монотонно изводит тревога,  
А утешает по праздникам теплая водка.  
Дело не в нас, но во времени, жаждущем жертвы.  
Как престарелый любовник, оно суетливо  
Нами владеет — поэтому мы не бессмертны,  
Тусклые ракушки в тусклой полоске прилива.



Ты черная дыра на панцире моем,  
Ты ахиллесова, фантомная пята калеки,  
Который жирными толчками рук  
Вершит свой путь к ларьку пивному.  
Излётно-летним днем по Каменноостровскому бредем  
И, как жених к шатру, к странноприимному  
подходим гастроному.

Тебе? Ну как же, сыра и вина.  
А мне немного слив и много мяса.  
И будем у звучащего окна  
Сидеть до псевдоутреннего часа.  
И буду я смотреть, как будешь ты пьянеть,  
И в голос свой вкраплять заезженные ноты,  
Из пряди в прядь переливать не медь  
Уже, еще не серебро. Так отчего ты  
Так грубо дорога устройству моему,  
Куда тебя одну из всех живых впускаю  
И тем приравниваю к тем, кто там, в дыму  
Слезоточивом сна, уже собрался в стаю?



Эвридей и Орфика, конечно, одно.  
Раздвоение — школьный прием.  
Мы толкаем себя на зеленое дно  
И себя же с обрыва зовем.

Мы увозим себя в тридевятую стынь,  
И оттуда, бессильно хрипя,  
Из оставленных нами садов и пустынь  
Наугад выкликаем себя.

Мы ласкаем, пытая, пытаем, ласка...  
Мы, Жюльетте с Жюстиной вослед,  
Выбираем то счастье, в котором тоска  
Скрыта, как в человеке скелет.

Так вот нас отпускают из Царства Теней:  
Как клиентов психушки в кино.  
Только дни всё короче, а ночи длинней,  
А за Летой хоть так же темно,

Но зато эту тьму излучает Аид,  
Наша мамка, кумир и главврач,  
Он, уколом забвенья смиряющий стыд,  
Гордость, ревность и зуд неудач.

Но, качаясь на койке, утробно рыча,  
Наслаждаясь теплом пустоты,  
Призываем скрежещущий отклик ключа  
На порвавший слюнявые рты

Вой звериный: «О-О-А». Но что в этом «О»?  
В этом «А»? Мы забыли давно.  
И свобода теперь: посмотреть ли в окно  
Или выпрыгнуть в это окно.

## ВЕЧЕР В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Ахматова с Недоброво  
Гуляют в сумерках по парку,  
Который просится в ремарку  
(Допустим: «Парк. Сентябрь»). Его  
Волнуют сплетни, вести с фронта,  
Его последняя статья.  
Ее волнует горизонта  
Косая линия, скамья,  
Приросшая к больному дубу,  
Неразрешенная строка.  
Он говорит: «Я завтра буду  
В «Собаке». Ты со мной?» Пока  
Он ждет ответа, Анна смотрит  
На стекленеющую тень  
Свою и четко произносит:  
«Сегодня был ненужный день».  
Его волнует, даст ли Анна.  
Она-то знает, что не даст.  
Куски тяжелого тумана  
Бросает небо, как балласт  
Бросает гибнущий воздушный,  
Коварно непослушный, шар.  
Недоброво срывает душный,  
Колючий, неуместный шарф.  
Он хочет знать! Она не хочет.  
Она уже полубормочет  
Решенье той смешной строки  
И вдруг, о Господи! хохочет...  
А ночь им лижет башмаки.

## ГЕРОЙ ПОЭМЫ

Хорошо быть Гумилевым,  
Удальцом яйцеголовым,  
Нячтить рыжих поэтесс  
И давиться кашей без  
Масла, и следить, как Оська  
Волочится (как авоська  
За старушкой) за О.  
Н. Арбениной. Мертво.

Не начать ли так пизэсу?  
Про него и поэтессу  
О. и комиссаршу Р.  
Про поэта и — химер.  
Наспех сляпать диалог,  
Плюнуть желчью в потолок.  
Только как ее поставить?  
Никуда нельзя поставить  
Злое небо в том краю  
И бессонницу твою.

Небо там обычно буро,  
Как медведь. А пуля — дура.  
Смертно падок был до дур  
Косоглазый балагур.  
Но стихов его десяток,  
Комковатый, как осадок  
У поэзии на дне,  
Всё всплывает по весне  
Под мостами, над Невой.  
И свистит городской.



Наполните мне руки траурными лилиями.  
*Энеида, 6-я песнь*

Вокруг победоносное «чив-чив»,  
И я, минуту счастья улучив,  
Вся становлюсь прозрачным, влажным оком.  
Смолкает сердце, замирает мозг,  
Вода на землю капает, как воск,  
Сгущается под ржавым водостоком.  
Деревья ныне выпукло черны,  
Внушая мне постылое: черкни  
Ему письмо или пошли открытку  
С бездарной репродукцией, без слов.  
Весна воняет, как болиголов,  
И умиление превращает в пытку.  
Весна воняет, как чудесный труп  
Красавицы, застигнутой на ложе  
С красавицей. С ее железных губ  
Срывается последнее: «Все то же».  
Вот так живые могут угадать,  
Что там, куда любезная попала,  
Стоит в углу такая же кровать  
И так же жалко смято одеяло,  
И так же та, которая живей  
Казалась шевелящихся ветвей  
И даже пересмешников-теней,  
Становится все дальше и темней,  
Когда, в безумье, главное мгновенье  
Пытаешься поймать ты, как блоху.  
Как не дано познать себя стиху  
Или найти источник вдохновенья,  
Так ничего я не смогу продлить,  
Так Пенелопа коврик распускает,  
Чтобы осталась женихам тоска и  
Обильно кровотокающая нить.

И от красавиц тогдашних, от тех европейнок нежных,  
Сколько я принял смущенья, насады и горя!

О. Э. М.

Гуще всех голосов, прихотливей былых потерь  
Шепелявая окись в груди у меня, в груди.  
Неужели ты... ты есть у меня теперь?  
Дай привыкнуть мне — немножечко подожди.  
Дай открыть глаза и снова закрыть и вновь  
Убедиться в твоей причастности февралю.  
Объясни мне, что... что значит моя любовь?  
Неужели я осмелюсь сказать: «Люблю»?  
Предскажи мне, где проломится гиблый мост,  
На который я вступаю в бессчетный раз?  
Укажи мне жизнь, в которой мой бедный мозг  
Не захочет прятать от жизни обеих нас!  
Разреши мне стать свободной от ветхих пут.  
Просто жить, а не с кем-то. Смотреть на тебя, когда  
Мне это нужно. Там петергофский пруд —  
Там драконы и утки. Ты говоришь: «Вода».  
Там насыпь под шкуркой дерна, китайских яблок рваньё.  
Я везла туда имена и хоронила там.  
Господи, разреши мне... разреши мне любить ее.  
Затяни эту пропасть в благопристойный шрам.

## УПРАЖНЕНИЕ №2

Я, счастливой любви и субъект и объект,  
Член от века друг с другом воюющих сект,  
А вернее — лазутчик в обеих,  
Я ворую огонь наших чресел и рук,  
Дешифрую невнятицу нежных наук  
Для всеильного войска плебеев.  
Как натягивал скулы твои поцелуй,  
Подглядев, я шептала себе: «Зарисуй  
Это в памяти, как укрепленье  
Неприступного города — после продашь  
Наступающим варварам. Вспыхнет этаж,  
Крыша, лестница, рухнет строенье,  
Что мы строили с тихой и долгой мольбой,  
Не цементом скрепляя, но только собой,  
Костным мозгом, слюною и желчью».  
Не грудастые ню украшали альков,  
А безносые скальпы погибших богов,  
Обреченных улыбчивой речью.  
Эти боги и нас защищали, когда  
Мои руки к пещере темнеющей рта  
Твоего так нещадно тянулись,  
И когда мы, забывши о поле своем,  
Чем-то третьим и правильным стали вдвоем  
Подо льдом беззастенчивых улиц,  
Мы не много тогда говорили, о нет,  
Зимний день ненадолго включал зимний свет.  
По кровати ползло одеяло,  
Словно всё поглощающий, жирный удав,  
И, от трех сантиметров меж нами устав,  
Мы урок повторяли сначала.  
Тот урок, что нам был так надменно знаком,  
Мы зубрили упорным и злым языком,  
Ослепленными жаром глазами.  
Как в утробе земли, были наши тела  
И намного голее, чем мать родила,  
И честней, чем желали мы сами.  
И когда в подступающей боли конца

Я пыталась сравнение найти для венца  
Этой нечеловечьей улады,  
Вспоминала себя на прибрежном песке,  
Перезрелые персики в мокром мешке,  
Сладострастье набоковской «Ады».

## ФЕНИКС И ГОРЛИЦА

*(Очень вольный перевод Шекспира)*

Птицу златоголосую отпусти  
К Дереву Смерти в Аравийском краю!  
Слышишь, герольд стонет в свою трубу  
О том, что крылья покорны. О том, что они чисты.

Вестников сторонись, темным визгом гоним,  
Сизых совиных глаз, беспокойных примет.  
Не доверяйся людям, знающим, что конец  
Приближается, — никогда не приближайся к ним.

Выше Добра и Зла в небе парит Орел.  
Вязок ему закон — деспот крыла раскрыл.  
Наши жизни и смерть для него только пыль.  
Как он ясен вверху. Как тяжел.

Научи свою паству слепо дерзить судьбе,  
И безголосый певчий с мозгом большой блохи  
Пропоет лебединую песню. Это смешно? Хи-хи...  
Лебединая песня. Реквием самому себе.

Ты же, треклятый ворон, что дыханьем зачат,  
Вечный траур ты носишь в жирных перьях своих.  
Прилетать на поминки ты приучен. Привык  
Дожирать то, чего не осилит Печаль.

Всё это присказка. Сказка будет о том,  
Что Любовью и Верностью мы удобрили грунт,  
Что и Феникс и Горлица неизбежно помрут.  
Хорошо, если в пламени. Лучше бы в золотом.

Золотое достойно их мужества быть одним  
Существом безграничным, беззащитным, безу-  
Мным. Даже тот, кто в объятье находился внизу,  
Недоступен для ада и для рая незрим!

Даже тот, кто разлукой доведен был до дна  
Мирозданья, был ближе, чем поспешная тень:  
«Наша ночь будет утром. А потом будет день.  
Без тебя я с тобою, а с тобою одна».

Растворяясь друг в друге, приходя, переходя,  
Обращенные в зренье, и при этом слепцы,  
Вы пытали друг друга, и потоки пыльцы  
На земле оставались пеплом после дождя.

Вы пытали друг друга, от сознанья тая,  
Что стремитесь и болью породниться. Что в ней  
Ваше общее сердце становилось двойней,  
Навсегда отрекаясь от постыдного «я».

Разум был неспособен отрезвить, превозмочь  
Вашу строгую ясность, беззаконную блажь.  
Уличая счастливых в совершении краж  
У разумных, он видел, что пора ему прочь,

Что, как бешенство, счастье излечить не дано,  
И нездешним аршином измеряют его,  
Что оно не безумно, а разумней всего,  
И настолько бессмертно, что дотла сожжено.

Говорят, что воскреснет... Чепуху говорят.  
На трагической сцене развлекается хор.  
Не мольба и не просьба, не упрек, не укор.  
Просто белые птицы. Просто птицы — горят.

**ПОЭТ ХЛОПУШКИН**  
(Из цикла «Пантеон»)

Я помню, как вошла, а он сидел в кровати,  
Обрюзгший, страшный (господи, сотри!  
Сии воспоминания некстати,  
Пиши о том, чумичка, что внутри).

Я помню, как его гремел портовый голос,  
Он был бы певчим, если б не жидом,  
Как, словно в Дельфах, истина боролась  
С его изъетым пустословьем ртом.

Бог суеты, аляповатый будда  
Китайских лавок, чудо распродаж,  
А вслушаешься — может быть... как будто...  
Да нет... Не может, ловкость рук, мираж.

Не может быть, чтоб этот клоун беглый,  
Чтоб этот отставной пантагрюэль,  
Понуро-бурый над бумагой белой,  
Превозмогая третьесортный хмель,

Увидел мир, как мышь кошачью морду,  
В последнем, подмерзающем поту,  
И подмигнул ему, как Фауст черту,  
Когда разит паленым за версту.

Уже вполне поняв, что карта бита,  
Его марьяж что мертвому грильях,  
Он все хрипит: «Лигейя, Серафита»,  
И строки тлеют от перепродаж,

Но что-то в них (допустим, запятая)  
Не поддается тлению, и вот,  
В ночной эфир помехою влетая,  
Шепнет ему: «Ты вечен, мой урод...»

**ПОЭТ ПЛЮШКИН**  
(Из цикла «Пантеон»)

Мы продирались с ним сквозь жженку ночи зимней,  
Сквозь плащевую ткань стальных июньских ливней,  
Он следовал за мной повсюду, как луна.

С лицом нетопыря и телом каплуна,  
Он, верно, был один, кому в сыром чаду  
Прыщавой алчности я не клялась: «Приду!»  
Ничто в нем не могло разжечь отроковицу.

Господь, как лесоруб, его, как рукавицу,  
Носил за поясом для самых грубых дел  
Словесности. Словарь его пестрел,  
Как лавка мясника, багряным, рыжим, желтым.  
Он представлялся мне фламандским натюрмортом,  
И, воплощая плоть без всяких тру-ля-ля,  
Был вам натуралист похлестче, чем Золя...

Но, неспособный сам на блики и оттенки,  
Чужие вирши он на бархатистость пенки  
Мгновенно проверял, на косточки просвет,  
На горечь густоты и вскрикивал: «Поэт!»,  
«Божественно!», «Дерьмо!» Его, ей-ей, ни разу  
Чутье не подвело. Как ювелир к алмазу,  
Он приближал к стиху мерцающий зрачок  
И из небытия, как рыбку на крючок,  
Тащил его к себе, бездарный и бесстрастный.

Маньяк-кастрат, в своей сети атласной  
Он расчленил его, и стих покорно гас  
Там... в глубине его подслеповатых глаз.

**ПОЭТ ПЕШКИН**  
(Из цикла «Пантеон»)

Он был мой близкий друг.  
За жизнь десятка слов  
Я не сказала с ним: его, видать, тошнило  
От болтовни моей. Сутул, изящнорук,  
Он скованно курил, опершись на перила.  
Его сенильный Дант завел в порочный круг:  
Он был бы в Риме Галл, во Фракии Орфей,  
А здесь он стал кумир проворных инфузорий  
И, чтобы не сойти с ума, учил детей.  
Как тот миссионер с улыбкой в лепрозорий,  
Входил он поутру в 11-й «б»  
И, слушая ответ глумливого заики,  
Увещевал себя: «Ни слова о судьбе.  
Пускай свою судьбу имеют только книги.  
А я? Я червераб. Я чукча, друг снегов:  
Что вижу, то пою. Но почему я вижу  
Без ледяных ключей, черничных берегов  
Густеющую и густеющую жижу  
Повсюду? Может, в глаз чего подбросил тролль?  
А может, это я наследую Мидасу?  
Но все не в золото преобразует боль  
Всезрящая моя — совсем в другую массу.  
Как жаба изо рта принцессы, мой глагол  
Ничьи не жжет сердца, но сеет бородавки,  
А я сражаюсь с ним, беспомощен и гол,  
А я вишу на нем, как смертник на удавке».  
Так он казнил себя. Когда б пришел ко мне  
Под эту вишню он, что обобрали белки  
В ..... городке в ..... стране,\*  
Под вой сирен и лай соседской перестрелки  
В районе почерней, он бы сидел вот так,  
А, может, эдак, и отплевывался желчью  
От праздных слов моих, похожий на пятак,  
Заначенный такой когда-то мощной речью,

---

\* Эпитеты читатель может вставить по вкусу. — *Примеч. автора.*

А ныне сиротой, путанкой площадной,  
Берущую за рупь, дающую на трешку.  
Но жив ее певец — пластинка за стеной,  
Картинка за спиной: «Самсон терзает кошку».  
Да, жив ее певец! Последний. Никакой.  
Надменный. Тусклый. Злой. На что слова я трачу?  
Что плачу?! Он живет за серою рекой,  
Брезгливою рукой в карман сгребает сдачу.

И вырвал грешный мой язык.  
Пушкин

С одной стороны Новый Мир, Древний Рим, Чечня.  
С другой стороны дыр-бул-щир, улялюм, фигня.  
А я говорю: «Ребята, ничья, ничья!  
Мне кажется, вы обходитесь без меня».

Пойдешь налево: покажут тебе язык  
(Который так могуч, что уж я и не  
Решаюсь искать сравнений) и друг калмык,  
И друг калмыка, финн, — в дофрейдистском сне.

Пойдешь направо: тут новый Лаокоон  
Своих удавов кормит моей едой  
Любимой возле фонтана... Какой там сон!  
Вот так субъект встречается со средой.

Иди-ка прямо. Так вот, иди, иди,  
Пока глаголом кто-то в твоей груди  
Еще не выжег дырочку для свистка.  
Иди, хромя стрелками, как часы,  
Пока в навозной яме гремят басы  
Твоих отцов, иди, говорят, поссы...

И ты идешь, как шмель по литой груди  
Бутона. Так, припав к синеве соска  
Корявым рыльцем, причмокивая, цеди  
Медок хрустящий золота и песка.

## ВИЗИТ В СТОЛОВУЮ УНИВЕРСИТЕТА

*Льву Лосеву*

Следы людей, оставленные тут,  
Перетянули горло, словно жгут  
Убийцы, подошедшего из мрака.  
На тряпке — одноглазая собака.  
Так эти твари символично мрут,  
Что слизь на рыжем маленьком глазке,  
Что целлофан, блеснувший на куске  
Условной колбасы под жарким носом,  
Не жалость — панику вселяют в мозжечок  
Гуляки праздного, который предпочел  
Визит сюда гомеровским вопросам.  
Тут возопишь: «А я-то как?» Вот так.  
Лишь термин всеобъемлющий «мудак»  
Определит твои мирские стати,  
То, как ты плачешь, голову склоня,  
На скользком склоне мартовского дня  
Так безутешно, но и так некстати.  
Твоя мертворожденная слеза  
Не развлечет означенного пса,  
Но пробежит, как жизнь: легко и мимо.  
Чтобы ты мог сказать: «И я там был,  
Салат морковный ел и кофе пил,  
Распространялся о пожаре Рима».

## ЗАРИСОВКА

Покойный был отменным негодяем.  
Когда б не догадался он почтить  
Надмирным сном, пришлось бы замочить,  
А так хороним, вот, и отпеваем.

Его подруги ныне, как одна,  
В своем уютном горе элегантны,  
Лучатся трехгрошовые брильянты,  
В заплаканных глазах не видно дна.  
Ура! Ура! Уносит он с собой  
Картинки их усталого позора.  
Примчались разномастною толпой,  
Как стадо коз в жару на водопой,  
Увидеть исполненье приговора.

Его друзья... А, впрочем, что они?  
Его враги, и те остались дома.  
Родители? Бог не корчует пни,  
Раздавленные грузом бурелома.

Никто не пригласил его детей:  
Никто не знал, как их искать на свете,  
Никто не знал, его ли это дети  
Иль жертв его? А, может быть, судей?

Дарю последним словом милый труп.  
Сам был болтлив, и все сказал заранее.  
Шуршу стыдливо бедными цветами,  
Рассеянно касаюсь серых губ,  
И, поднимая вспухшее лицо  
Над этим гротесковым пепелищем,  
Я стягиваю желтое кольцо  
И отдаю остолбеневшим нищим:  
Молитесь за него!

Погиб поэт. Точнее — он подох.  
 Каким на вкус его последний вдох  
 Был — мы не знаем, и гадать постыдно.  
 Возможно, как брусничное повидло,  
 Возможно, как разваренный горох.  
 Он сам хотел ни жизни, ни конца,  
 Он так хотел — ни деток, ни отца.  
 Все — повторенье, продолженье, масса.  
 И мы, ему курившие гашиш, —  
 Небытие, какой-то супершиш,  
 На смену золоту пришедшая пластмасса.  
 Его на Остров Мертвых повезут,  
 В волнах мерцают сперма и мазут,  
 Вокруг агонизируют палаццо.  
 Дрожит в гондоле юная вдова,  
 На ней дрожат шелка и кружева,  
 И гондольер смекнет: ни слякоти, ни слов,  
 Ни равнодушной родины послов,  
 Но главное — рифмованных истерик...  
 Его желанья — что они для нас?  
 И мы чего-то захотим в свой час,  
 Когда покинем свой песчаный берег.

Он так хотел... Так все-таки хотел!  
 Пока еще в обложках наших тел  
 Живут высокомерные желанья,  
 Он жив, он — жизнь, он — суета и хлам,  
 А значит, он — смирение и храм,  
 Цветущий на обломках мирозданья.  
 Что смерть ему? Всего лишь новый взлет.  
 Кому теперь и что теперь поет  
 Его крикливый смех, гортанный голос?  
 Такие ведь не умирают — нет.  
 Они выходят, выключая свет, —  
 Но в темноте расти не может колос.

Он остается — белый и слепой,  
Раздавлен непонятною судьбой,  
В свое молчанье погружен до срока.  
И что ему — какие-то слова?  
И что ему — прелестная вдова?  
И что ему — бессмертие пророка?

## ПЕРЕЕЗД НА РУБИНОВУЮ УЛИЦУ

Сюда спешат наемники, цари и  
Один из тех, кто временно незрим.  
Скажи мне: мир мы или рим, Мария,  
А, может, мы теперь александрия?  
Скажи: мы бредим, чахнем иль горим?  
Сюда спешат на лошадях и птицах,  
Единорогах, эльфах, мотыльках.  
Кто поученей, те на колесницах.  
Кто поумней, вприпрыжку на руках..  
Сердца на ребрах, очи на ресницах.  
А губы? Губы на губах других,  
Как склеенные тиною моллюски.  
Сюда спешат и выпевают стих,  
Какой, не ясно. Ясно, что по-русски.  
Я не больна отчизною своей.  
Я даже в то, что есть она, не верю,  
Поскольку с глаз долой. Но, как еврей  
Усмешке, так и я причастна зверю  
С медвежьей силой, мозгом снегиря,  
Душой П. И. Чайковского в балете.  
Поэтому, когда взревет заря,  
То боль утихнет: здесь все дело в свете.  
Истории, культуры, Бога — нет  
Для тех, кто их не видит и не знает.  
Нет времени. Нет места. Только свет  
Меняется для всех. И все меняет.

# II



## БОЯЗНЬ ВЫСОТЫ

Если будет весна, мы поедем питаться весной.  
Да, на кладбище. И налюбуюсь на  
Задник сцены в балете — нагой, завитой, расписной,  
На Жизель, что ребенком Альберта до неба полна,  
На Альберта, который над мусорной ямой парит,  
Над прожорливым стадом безбожных и гордых виллис.  
Что за грустная муза его поедает внутри?  
Почему эти пляски так полно ему удались?  
Там, на кладбище, ты приобнимешь меня за плечо,  
То, которое лучше другого, кривого плеча.  
Как ты это придумал, в каком ослепленье прочел?  
Ростовщик ли тебе эту ласку мою обещал?  
Да, конечно, пожалуйста, папоротник и мох —  
Серафимов приют — мать-и-мачеха, ландыш, вьюнок.  
Если будет весна, мне воробышки песни споют  
И лошадки прольют на булыжник навоза вино.  
А потом мы поедем к старухам в лазоревый сад,  
Тот, где Павел гулял и, наверное, желуди жег.  
Наконец, я забуду себя среди клумб и оград,  
И на память об этом придумаю круглый стишок,  
И его закопаю, как желудь, в надежную грязь,  
И его не найдет пограничник с лопатой в руках.  
Ничего, ничего, ничего, ничего не боюсь,  
Я, как «боинг», пройду в удушивших меня облаках.  
Я увижу, как землю к себе приближает пилот  
Или сердце пилота к себе привлекает земля.  
Будь же проклят мечтатель, придумавший этот полет  
В миг, когда от удара соседние вздрогнут поля.

## КОФЕЙНЯ В БЕРКЛИ

Здесь мой отец сидел семь лет назад,  
смотрел на силиконовый закат  
языческой расцветки «Окон РОСТА»,  
и все ему тогда казалось просто.  
Жизнь, ковыляя, подошла к концу,  
зато остались милые детали,  
которые подносим мы к лицу,  
как вынутый из нас кусочек стали,  
и, усмехаясь, говорим: ого!  
Итак, отец... Как часто про него  
я думаю и поминаю все  
его привычки, редкие смешки,  
как он не принимал мои стишки,  
зато бросал: «Давай-ка порисуем».  
И мы садились рисовать цветы,  
которые притаскивала мама  
снопами отовсюду, где была.  
Смотрю отсюда: скучные дела,  
вполне добропорядочная драма.  
Смотрю оттуда: он сидит, седой,  
и кисточкой елозит по палитре.  
Смотрю отсюда: каждой запятой  
и каждым миллилитром в каждом литре  
холодной крови, я его дитя,  
его прогулка по трущобам парков,  
хотя своею смертью он, шутя,  
меня и предал жизни, как Иаков,  
за некий рай, где я не появлюсь —  
чужое семя, выродок, предатель...  
Мой папа, как я мучусь, как я рвусь  
к тебе, мой недоступный наблюдатель  
с небес за дивной старостью жены,  
за дочерью, взрослеющею криво.  
Ты средь небес стоишь, как валуны  
стоят в неутолимости прилива,  
или ты мох на этих валунах?  
Седой, соленый, переживший бурю,

ты слово поперек ночному морю,  
в нем глухо вызывающее страх.  
Да нет, отец, во мне не кровь, а боль  
твоя, незаживающая язва.  
Во мне (о, Фрейд!) желанье быть с тобой  
столь прихотливо и разнообразно,  
что я ищу среди сверстников твоих  
отца своим замысловатым детям,  
отчасти плотски проверяя миф,  
отчасти просто наслаждаясь этим.

## КАЛОКАГАТИЯ

Как дирижабль в ночные облака,  
Так погружаюсь я в спортивный зал:  
Как в сон — будильник, в поцелуй — рука,  
Как в лавку ювелира — бронтозавр.  
Моя нигилистическая плоть,  
Утратившая в странствиях задор,  
Пытается бежать, крутить, молоть,  
Нагар и сало изгонять из пор,  
Не видеть, как поджарые щенки,  
Язычники без пола и стыда,  
Глазеют так, что гнутся позвонки  
Железных шей. Шипят: «Смотри сюда!  
Смотри, какое чудище среди нас,  
То — водяная лошадь, рыба-кит,  
Разлезшийся в компоте ананас,  
Оплавленный пещерой сталагмит!»  
А мне и дела нет до этих дел,  
Я повидала всякие дела,  
Во мне и тела нет для этих тел,  
Я покидала всякие тела.  
(Непобедимым телом я была.)  
Ты помнишь край? Лимоны и т. д.?  
Пустынный остров, нимфа, па-де-де  
Свиней, пришелец с черной бородой.  
Ты помнишь край? Красивый-молодой,  
Ты, мнущий гири, как златую грудь  
Веселой девки? Если да — забудь.  
Но думаю, что нет. Тот край во мне,  
В поту на скособоченной спине,  
В зеленоватых складках живота,  
В морщинке у напрягшегося рта.  
Тот край во мне. И он со мной умрет,  
Как несъедобный вересковый мед.



## НАКАНУНЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Чернеет парус одинокий на фоне моря.  
Эгей в расстройстве свой бинокль бросает о скалу  
И, проследив, как след бинокля  
Средь волн разгладился, как поря,  
Идет к себе домой и зычно  
Провозглашает: «Все к столу!»  
Чернеет парус одинокий. Тезей лукавый  
Стоит, мечтает о престоле, мычит танго.  
А я здесь мучаю сюжетец, извитый славой,  
И в глубине меня просторно, но не легко.  
Свой путь земной на три десятых пройдя по кругу,  
Как карусельная лошадка, тебе твержу:  
Храни меня, свою заботу, свою подругу,  
Свою смешливую условность приготовления к рубежу.  
Не долетит стрела Амура до середины  
Калифорнийской зимней ночи — падет во тьму.  
Другие маленькие боги щекочут спины  
И моему сопротивленью и милосердью твоему.  
Другие боги, вроде мошек балтийским летом,  
Висят над нами, легким шаром, на тонкой синеве,  
И говорят: о том не думай! не плачь об этом!  
Все сплыло. К немоте по Лете. К заливу по Неве!

## В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Я ИДУ НА БАЛЕТ

Дон Карлос

Ты молода... и будешь молода  
Еще лет пять иль шесть. Вокруг тебя  
Еще лет шесть они толкаться будут,  
Тебя ласкать, лелеять, и дарить,  
И серенадами ночными тешить,  
И за тебя друг друга убивать  
На перекрестках ночью. Но когда  
Пора пройдет, когда твои глаза  
Впадут и веки, сморщась, почернеют,  
И седина в косе твоей мелькнет,  
И будут называть тебя старухой,  
Тогда что скажешь ты?

*Пушкин, «Каменный гость»*

Виллисы идут «свиньей» на силы добра в трико.  
Силы добра сливаются в па-де-де.  
Все это от меня не то чтобы далеко,  
Все это от меня вот именно что нигде.

Я выросла, как цветок? Нет, вызрела, как арбуз.  
Трещина, и на ней ловит свой кайф оса.  
Как ребенок плаценту, я разорвала груз  
Неба, и вышла кровью закатная полоса.

Я вижу себя старухой, желтой от табака,  
Измученной спутника, лет двадцати пяти,  
Тем веселым спокойствием, с которым моя рука  
По его одежде прокладывает пути.

Он живет со мной ради рассказов о тех годах,  
Когда еще были живы N и, конечно, M,  
И видит меня кудрявой лгуньей в ночных мечтах,  
Записывающей строки за неизвестно кем.

Он гордо перебирает бесконечные ню  
Той, что была такой лет пятьдесят тому.  
И за эту измену я его не виню  
И коронками томно улыбаюсь ему.

М (скупой алкоголик), N (педофил и тля),  
Верьте, я не предам вас, но поведаю им,  
Как от вашего пенья раскрывалась земля  
И оттуда усопшие улыбались живым,

Как вы были несчастны, одиноки и не-  
Понимаемы плебсом за Великой Стеной...  
И толпою мурашки пробегут по спине  
У лежащего рядом в темноте предо мной.

Тут он станет старуху целовать-миловать  
Не от жалости, но от жадности площадной.  
И, как лодка Харона, покачивается кровать,  
Омываема Стикса незабвенной волной.

## О ПРЕОДОЛЕНИИ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА

Под чуждым небосводом, под защитой  
Улыбчивых берклийских инвалидов,  
За коими ухаживаю я,  
Лежит душа, как богатырь убитый,  
Уже не привлекая воронья.  
С нее уже все вкусное склевали,  
Ее бы мыть дождям, пинать ветрам.  
Но ни дождя, ни ветра, и едва ли  
Слова найдутся и прикроют срам.  
Слова, что служат здесь, скромны и плоски,  
Былому велеречию чужды,  
Что к лучшему: как описать по-русски  
Большой и малой (мать твою) нужды  
Подробности, чтоб скрюченное тело  
Страдалицы не крючилось больней,  
Чтобы, оно по-прежнему хотело  
На смену жалким дням никчемных дней?  
Чтобы, когда ее кормлю и мою,  
Я, белоручка, выскочка, чума,  
Она была бы заодно со мною,  
Чтоб англоговорящего ума  
Простые силы нас объединяли,  
Как, скажем, деньги, или, скажем, ложь,  
Когда лежит она на одеяле,  
А ты ей руки греешь и поешь.

## ИСТОРИЯ РИТМА

Когда подъезжает к границе  
Какой-нибудь русский поэт,  
Становится он Ходасевич  
Уже на таможене. Когда  
В холодном его самолете  
Дрожит неуверенно свет,  
Он смотрит тоскливо на землю,  
А вместо земли там вода.  
Когда же, как поздний ребенок,  
На твердь выскользают шасси,  
Наш друг безутешен и тонок,  
О глупом его не проси.  
Не тычь его в морду селедкой  
И пивом его не пои.  
Он стебель стальной и короткий  
Той розы в бокале аи.  
Он кто-то в Берлине прогорклom  
И некто в Париже глухом.  
Он, нет, не здоровался с Горьким,  
Скорее дружил с Пильняком.  
Смешно: эмигрантская пресса  
Бессмертью его ни к чему.  
Берберова, как стюардесса,  
Всегда улыбалась ему!  
Он изгнан безумной странюю,  
Но это пройдет у страны.  
Как Йорик, сродни перегную  
И, как Дездемона, верны,  
Читатели в чутком потомстве  
От песен его заболят.  
Воскреснут румяные музы  
В кокошниках и соболях.  
Сфальшивит парижская нота  
От горестных звуков его...

А я тут встречаю енота  
И очень боюсь за него:

Он перебегает дорогу  
Под визг электрических звезд,  
Хромая на заднюю ногу,  
Влача перерубленный хвост.  
Мое настоящее в этом  
Упорном еноте, а не  
В желаньи считаться поэтом  
В прекрасной, но дальней стране.  
Мое вожденье — получка  
По пятницам. А по средам  
Не скука, а горькая скучка  
Над вами, София, Адам,  
Скабрезные Жоржик и Вячик,  
Болезные Осип, Роальд...  
(История ритма!) как мячик  
Колотитесь вы об асфальт,  
А мы наблюдаем с енотом,  
Дорогу уже перейдя,  
Как в гущу машин выбегает  
За мячиком вашим дитя.

## АВТОБУС НОМЕР 51М

Я ехала в автобусе, в котором  
Все были сумасшедшими. И это  
Не броская гипербола, позором  
Могущая быть в творчестве поэта,  
Столь пристального к мистике реалий,  
Как я. Так вот, они и вправду были  
Больными, осторожно забирались  
На жердочки сидений, и взирали  
Куда-то в пустоту, и говорили  
Одновременно, каждый о своем,  
Кому-то, кто не суц, не осязаем,  
И пахли все нестиранным бельем.

Один из них, с косицей и в перстнях,  
Все приставал к водителю с беседой.  
Изрядно светский, но беззубый рот  
Его преображал поток веселый  
Нездешних и загадочных острот  
В причмокиванье, шамканье, однако  
Оратор сам того не замечал...

Его сосед по знаку Зодиака  
Сидел в углу и башмаком качал,  
Как вдруг он приосанился и грозно,  
Взглянув в окно, кому-то за окном  
Сказал: «Все это слишком просто,  
Чтоб размышлять об этом. Я о том  
Кумекаю, сограждане, что тщетно  
Додумываем мысли до конца.  
Нам ясно все заранее. Ответа  
Не получить глухому от слепца.  
Но дело не в отсутствии контакта,  
А в том, что, как с цветущего холма,  
Все обозримо, все уже понятно.  
Во всем уже присутствие конца...»

Я с напряжением вслушивалась в бредни  
Печального мыслителя, как вдруг  
Старик, дремавший на скамье соседней,  
Изобретательным движением рук  
Ширинку распахнул и, прыгнув к двери,  
Мочиться начал в черноту за ней.  
Мы проезжали сквер. Кричали в сквере.  
Попутчики сидели в тишине.

Другой сосед, когда-то чернокожий,  
Теперь в коросте от ушей до пят,  
Скрипел своею воспаленной рожей  
И, так как тоже был придурковат,  
Лупил по ней корявыми культями,  
Унять пытаюсь нараставший зуд.  
(Так побежденный лупит по татами,  
Мешая струйку крови и слезу  
С соплей под потерявшим форму носом.  
Но это отвлечение...)

Пятый из  
Придурков донимал меня вопросом,  
Который час. «Двенадцать без семи».  
«Двенадцать без пяти». «Уже двенадцать».  
Был предсказуем этот диалог.  
Дурак пытался на ноги подняться,  
Но был под кайфом и уйти не мог.

Так это было. Больше ничего  
Не выжмешь из рассказа моего.  
Ни пакостной метафоры, навроде  
«Весь мир дурдом», ни прения о том,  
Что все мы подчиняемся природе  
В итоге, как щенки под животом  
Отнюдь не римской суки... Нет, не это  
Вело мое дешевое стило,  
А вечное намеренье эстета  
Шнур выдернуть и выдавить стекло.

## ПРИМЕЧАНИЕ МЕФИСТОФЕЛЯ

*(По следам принудительного прочтения трактата Макса Нордау «Вырождение»)*

Плод не идет. Родильница вопит.  
У акушерки в семь часов свиданье,  
А у нее запущенный пульпит  
И месячные — не раскроешь рта, не  
Позволишь лишнего. Не так ли Еврипид,  
Гимнаст Тибулл, Ронсар Нерукотворный —  
Любой из них, кого ни помяни,  
Вотще сидели в роще мухоморной  
Поэзии, вотще считая пни  
Эпитетов, сухие кочки пауз  
И солнечные зайчики длиннот.  
— Мне скучно, Бес.  
— А ты пошел бы, Фауст  
Туда, куда любой из них идет  
Всю жизнь, заметь, а там — застрявший плод.  
Ты понял бы, что я с тобой здесь парюсь,  
Чтоб с ними заурядный эпизод  
Безумия не обрамлять в кавычки  
Усердия. Чтоб — ах! — не замирать  
Над куцей шляпкой соохшейся лисички  
В том, как известно, сумрачном лесу,  
Где тлеют примечания внизу  
От эмпирейской задрожавшей спички  
В руке кого-нибудь из бедолаг,  
Которые томятся в этом круге.  
В сравненье с ними паинька — Язон,  
Эринии — робки и близоруки,  
Как бабушка твоя. Демисезон  
Бесплодия я выбрал им расплатой  
За то... За что? За что, не помню сам.  
За что-то мерзкое. Пусть по своим лесам  
И посидят. Потешатся руладой,  
Раздвоенным помучат языком  
Больной пробел в пародонтозных деснах.  
Потом я к ним зайду. Я им знаком,

Как никому. Поверь мне, что силком  
Я не тащил их в черноту морозных,  
Великолепных адовых ночей —  
Всегда они ко мне спешили сами.  
И вот теперь — со связкою ключей  
Один дурак, другой совсем в панаме  
И с полным крови бабочек сачком,  
А этот — тьфу! — с картинкою скабрешной.  
И все бормочут что-то ни о чем,  
Разгуливая праздно по-над бездной.



## АТЛАНТИДА

Человек, похожий на рыбу-пилу,  
Спит в соседней комнате на полу,  
Человек, похожий на рыбу-иглу.

И за ним из меня устремляется нить,  
Что сшивает в пространстве чужие слои,  
Что, сближаясь, становятся словом «любить»,  
И оно изменяет обличья свои,  
Как идущий на важную явку шпион,  
У которого ампула с ядом в зубах —  
Дар Изоры. Узоры. Узор нанесен  
На сукровицу наших крестильных рубах.  
По нему узнаем мы друг друга вот так —  
На соседних полах, на весенних пирах,  
И пароль мироздания — «Попка-дурак» —  
Расчленяет лучом солипсический мрак.  
По нему — по узору, по щедрой горсти  
Ярких родинок, спящих на карте спины,  
Мы находим сокровище, там, где мосты  
Под водой, а не над. От тюремной стены  
Стайка рыбок взлетает, как искры костра,  
И, как искры во тьме, рыбки тают в воде,  
И медуза на камне висит, как киста,  
Как лягушка у лешего на бороде.  
Там, под спудом, — сокровище. То, что во сне  
Память жадная мечет, как жаба икру,  
Что ночами со мной говорит обо мне  
И под камень подводный спешит поутру.

## ПРИНОШЕНИЕ В. В. НАБОКОВУ

И знаешь, меня вдруг захлестнуло ощущение такого счастья, что я даже задыхаться начала. Счастье оттого, что еду по незнакомой дороге, вокруг лес, и можно представить себе, что ехать так буду долго-долго, много дней...

*(Из письма С. Н.)*

Двух женщин знала я и одного творца,  
Которые могли, не выходя из ванной,  
Услышать синий звук хрустального дворца,  
Змеиный посвист «с-с-ш-ш!» и покрик караванный.

Тех женщин больше нет. На самом деле, есть.  
Но их отсутствие мне нужно, как отмычка  
Для их прозрачных душ, хоть и гремит, как жесьть,  
Как ночью дачною пустая электричка.

Нет, их не может быть, их зимнего ума,  
Рисующего все в декабрьском полусвете,  
Их ненадежных рук, роняющих тома,  
Посуду и детей. Но, слава богу, дети

Не бьются. Этот мир был создан не для них.  
Они — не для него. Лохматый Лобачевский —  
Слепой, как де Грие, старательный жених! —  
Вот именно для них для двух создал чудесный,

Непроницаемый для автора сих строк,  
Неразрешимый мир, вне суеты и боли,  
Куда на кораблях слал опиум Восток,  
Юг — хитрых обезьян, а Запад — «Алкоголи».

Хотя... Я думаю, что суета и боль  
Там просто не в ходу, как чуждая монета,  
Не потому, что там — надзвездная юдоль,  
Не потому, что там — мороженщик и лето,

А потому, что там — Другое. И слова  
Мирского словаря там — знаки без понятий.

Там на дворе трава, но это — трын-трава,  
Подстеленная для падений и объятий.

Кто ж обнимает их? Кто поднимает их?  
Кто похоронит их? Кто навестит могилы?  
И, кстати, кто творец? Кто спутник тех двоих?  
Не знаю... Знаю... Не...

Они, как те приливы,

Учебник говорит, доверены луне.  
А на земле он — сноб. Они, пожалуй, — бляди.

Мне недоступные, но пишушие мне  
О счастье, о кино, о Боге, о зарплате.

Всеволоду Зельченко — к Новому году

Затемненное ночью окно отражает в полоску халат.  
 За окном — Новый Свет, то есть штаты америки со-  
 Единенные морем. Холмы, как гирлянды, горят.  
 То есть — окна в домах на холмах. Сколько перст ни соси,  
 это — всё.

В моей памяти, после набега моих предыдущих стихов, —  
 Запустенье. Валяется разве совсем уж бессмысленный хлам,  
 Вроде пары отставших от поезда реплики слов  
 И отброшенных в спешке теней. По разъятым телам  
 Уничтоженных воспоминаний уже потекли муравьи,  
 Санитары забвенья, впряженные шестериком  
 В ту тележку, где негр белоглазый багровые десны свои  
 Обнажает в призыве: «Луиза, не бойся. Луиза,

ты станешь дымком  
 Над трубой крематория». Кстати, указанный выше дымок  
 Пролетал мимо окон больницы, где я (вот ты, память,  
 опять за свое —

Как воришка на рынке, стянуть норовишь пирожок  
 С требухой реализма: больница, клистир, забытье)  
 Входит мама с гостинцем, вбегает раздавленный горем дружок,  
 Воскликает: «Луиза, не бойся! Любимая, развеселись!  
 Хоть вся улица наша — симпозиев мирный приют,  
 Но для черной телеги,  
 Для струйки антропонесущего дыма,  
 Беззаботно несущейся ввысь,  
 Нет предела. Но что там? Я слышу — больные поют».  
 (За дверьми раздаётся песнь Вальсингама.)

... Он был моим любовником, когда  
Сгорала осень над проклятым градом,  
Вернее — проклятым Лопухиной.  
И как по-детски я была горда  
Соизволению являться на дом  
К нему и освежать его больной  
Рассудок и здоровый организм  
Своей предельно неуместной страстью.  
Мне кажется, он даже не скучал,  
Лаская шею, может быть, лебяжью,  
А может быть, змеиную: как знать,  
В кого из гадов превращает страсть  
Тех, кто ушел от божеских начал,  
Вернее, крестик расстегнул зубами,  
Чтоб символ истой веры не погнуть;  
Чтоб знать, что если раньше кто-нибудь...,  
То уж теперь — нет никого над нами!  
Мне кажется, как в страсти нету слов,  
А только так — подобья для приличья,  
Вот так же немы Вера и Любовь:  
Змеиное в них умножает птичье.  
Я ж говорю не о любви к тебе —  
О той огромной осени, о теле,  
Инициалах мертвого — И. Б.  
О том,  
    что навсегда,  
          на самом деле...

UNA FURTIVA LAGRIMA,  
или 26 января 1996 года

Кошка, облитая кислотой, дует на снег.  
(Химик коварный ее прикормил — вот результат.)  
Было явление мне нынче во сне,  
Будто в каком-то условном году — память, назад! —  
Жил император, алхимик, знаток  
Милых чудес.  
Днем он ходил на каток  
И держал локоток  
Спутника, а по ночам...  
А потом он исчез.  
Спутник, стекая рыданьем, кричал: «Колобок!  
И от меня, и от Луция Афры убеги,  
И от Корнелии, и от Коринны, стервец!  
Плесень ползет во дворец!»

Рядом лежавший проснулся, услышав меня.  
Слезы мои торопливо пила простыня.  
Как-то картинно дрожала моя голова,  
В руку лежащего рядом дышала слова:  
«Не уходи, император, алхимик,  
Флегматик с фальшивым лицом,  
Кончивший прямо в могилу,  
В агонии ставший отцом,  
Бывший отцом этой братии,  
Тусклой, губастой, рябой.  
Не уходи, или лучше,  
Значительно лучше,  
Возьми нас с собой.  
Нету тебя без тебя.  
Философский твой камень фигня,  
Ты совратил, когда было одиннадцать мне,  
А теперь без меня?!  
Ты совратил меня буквой своей  
С козырьком и пузцом,  
Питерских черных аллей  
Летаврическим чудо-дворцом,

Миром, воспетым тобою,  
Ты ноги раскрыл, как сердца.  
Я, как известный кузнечик,  
Ждала ли такого конца?  
Я Магдалина, Мария,  
Я Петр, я злосчастный петух,  
Трижды смущавший евреев  
Разборчивый слух.  
Сны-предсказанья-стихи-похорон-беготня.  
Я ненавижу тебя без меня и себя без меня».



Это не я сижу на балконе в осенний зной.  
Это ты здесь сидишь, один в колченогом кресле.  
Потому что, войдя в меня, ты обернулся мной.  
Вот разгадка движенья: умерли slash воскресли!  
И как сам себя человек не помнит, так изнутри  
Я тебя не помню. Но тот, кто глядит снаружи  
На меня, тот видит мыльные пузыри  
Твоих крупных черт, парящие в адской стуже  
Невниманья к нашим призракам, снам, теням,  
Ко всему, чем мир наполнен, как маслом банка,  
Так что рыбий жир сочится по простыням  
И стекает потом по лбу удалого панка  
В сан-францисский полдень, когда, притворившись мной,  
Ты бредешь по улице с детским названием «Рынок»  
И вдыхаешь мир, недоступный тебе, блажной,  
Даже порами рыжих, дешевых моих ботинок.

## ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ИЛЬИЧЁВА

Сегодня с тобою, Раймон Радиге,  
Мы жадно съедим по куриной ноге,  
Мы выпьем с тобой по стакану вина —  
За это потомки заплатят сполна.  
Сегодня опять день рождения твой.  
Мы ложе украсим свекольной ботвой,  
Мы щеки накрасим свекольной бурдой,  
Козла с золотой приведем бородой.  
Потом — мы друг друга начнем раздевать,  
Притворно смущаться, притворно зевать.  
И выпьем опять по стакану вина —  
За это заплатит скупая страна.  
Потом — ты надолго уйдешь в туалет.  
Стемнеет. На улицах выключат свет.  
Вернешься. Бутылка постыдно пуста.  
Мои в уголках потемнели уста.

Меня тебе жалко, не станешь будить.  
Но станешь тяжелою трубкой чадить,  
Вонючею спичкой меня освещать,  
Горюя о том, что могли бы зачать  
Смешное дитя в день рождения твой —  
Твой сын был бы вылитый ты, но живой.

Не скоро проснусь я в прокисшем чаду —  
Тебя не найду и себя не найду.  
Белеет одежда, чернеет кровать —  
Придется покойника в лоб целовать.  
Ах, вонь формалина!  
Ах, вытекший глаз!  
Ах, всё, что сегодня родилось от нас.

Авраам сказал в ответ: вот, я решился  
говорить Владыке, я, прах и пепел.

*Бытие, 18, 27*

Вот так и живу. К сожалению, счастья — вот так,  
Как вышло — не важно. Куда — не сказало. Но вышло.  
Зашел к пустяку в полуночные гости пустяк.  
Они согрешили. Закон мироздания — не дышло.  
Зато мне понятно (что редко бывает со мной),  
Зачем обернулась жена безупречного Лота  
На то, что орало и жгло у нее за спиной.  
На что обернулась? Источник молчит. Это что-то  
Не хочет описанным быть. Потому и молчит  
Источник, который обычно столь щедр на цитаты.  
Там, в будущем — Лотово царство: мечи да пращи.  
Там, в прошлом — мечта передвижника: роцезакаты,  
Грачи прилетели и сели на войско детей,  
Которые с ревом несутся на снежную крепость,  
И прошлое, словно скрипучую дверцу с петель,  
Срывают затем, чтоб источнику жарче горелось  
О горе Гоморры, о страхе Содома, о том,  
Как стыдно нам было, как скучно и весело было  
Прижаться к расплавленным глыбам лицом, животом,  
Вдохнуть раскаленное облако пепла и пыла.  
Ан нет, я спаслась, перебравшись в иную главу:  
Источник терпим и лазейками полон, как гетто.  
Но только не спрашивай — спрашивай! — как я живу.  
Как столп соляной, что торчит посредине Завета.

## ИЗ ЦИКЛА «ПЬЕТА»

На Пути нет хоженных троп.  
Тот, кто им идет, одинок и в опасности.  
*Из «Избранных Чаньских изречений»*



Жизнь сходится над Смертью, как вода  
Над камнем, брошенным в нее,  
И я, оравшая бессмысленное НЕТ, проямлю ДА,  
Впадая в благостность и забытье.  
Да, разгерметизирован, летит  
Мой самолет, где иней на окне,  
Моя соседка неподвижно спит,  
Давая нужную свободу мне  
Смотреть на мне ненужное лицо,  
Как на пейзаж:

Пусть инвалид, взобравшись на крыльцо,  
Оттуда смотрит на далекий пляж  
И видит: змеевидные тела  
Блестят, скользят,  
И женщины летают, как пчела,  
И камни шелестят.  
Ни зависти не чувствую, ни зла,  
Ни прочих богоборческих идей.  
Мне Смерть тебя однажды принесла,  
Как девочка щенка,  
И вот скорей  
Уносит, чтоб похвастаться другим.  
Ей надоело восхищать калек  
Тобою: черным, золотым, нагим,  
Убийственным. Ей хочется коллег  
Развлечь твоими статьями. И я  
Не то чтоб понимаю, но и не  
Не понимаю: мир небытия  
Нуждается в тебе, и, значит, мне  
Он симпатичен, как тот южный дом,  
С крыльца которого взирает инвалид  
На пляж прекрасный,  
И беззубым ртом  
Хозяйке выйти на крыльцо велит.

## Примета

Судя по количеству пауков, ползущих по стенке сортира,  
В этом забытом и Богом и Почтальоном краю,  
Мне напишет письма, по крайней мере, полмира,  
И другая его половина приложит печатку свою...  
Эти нитконогие монстры несут мне постные вести  
О выигрышах, изменах, о том, что идет в кино  
В каких-то краях далеких, о преданности без лести,  
О предчувствии счастья теми, кто так давно  
Ушел. И тогда пойму я, приму я, переварю я,  
Что Текст не имеет Даты, что, как Ниоба горюя,  
Ты будешь, конверт взрывая,  
Живые впитывать строки  
И будешь, почти живая,  
От них коченеть в восторге:  
Что делать, автора тело  
Гниет под звездами Юга.  
Вагина осиротела,  
И не тиранит слуха  
Его мяукавший голос.

Но буквы — они доньше и впредь,  
Как скорпион в пустыне, преодолевают Смерть  
Бескрайнюю, позволяя  
Хотя бы забыть о ней  
На время чтенья. И эта уловка злая  
Да сделает нас талантливей,  
А наших убийц точней.

## Очередной сон

*Константину Кавафису*

Ты приснился мне переодетым женщиной...  
Не в том смысле, что женщина тебя переодевала  
(Хотя кто знает, кто вас там переодевает),  
А в том, что был накрашен невероятно  
И одет, как будто для какого-то языческого обряда —  
Очень ярко и совершенно нелепо.

Ты ненадолго мне показался и подмигнул  
Лукаво, ласково и обнадеживающе  
(Мол, видишь, как у нас тут все забавно — радуйся!).  
Ты, как всегда, очень точно обнаружил источник бедствий.  
Всего мне хватает, все у меня под рукой:  
Время, деревья, желанное тело мужское.  
А вот радости нет. Не толкает она меня  
В спину, не распирает грудь,  
Не заполняет ушные раковины  
Песенками, пресными, как любые слова любви,  
Но в самом звучании заключающими  
Соблазн поиска верных слов,  
Которые вот-вот возникнут — слишком долго их ждали.

Все мне далось, чего я просила.  
А то, чего не смела просить, — не далось.  
Значит, так мне и надо,  
За то, что сон не смогла досмотреть до конца,  
За то, что опять, как при жизни, не спросила тебя ни о чем.  
Так мне и надо за мое малодушие  
И за слишком большое доверие к твоей нелюбви!



Имя мое призови,  
Шум остывающих нег.  
В армию братской любви,  
В комнату падает снег.

Он застилает диван,  
Кресло и письменный стол,  
Он застилает девах —  
Ты им и счета не вел.

Все они здесь, Дон Гуан,  
Все собрались посмотреть,  
Как будешь ярко гореть,  
Как станешь сладко смердеть...

Ты же другим огорчен —  
Снегом, идущим весной.  
Ты бы теперь предпочел  
Мягкий, щекочущий зной.

Смерть для тебя — не урок,  
Не завитая мораль.  
Просто назначенный срок,  
Просто упавшая шаль

С мягких, опущенных плеч,  
Что будет дальше, поймешь —  
Наипрямейшая речь,  
Первая в жизни не-ложь.

## Последний разговор

Прости меня, несчастный Лорд Дарнлей,  
За эту смерть — птенца в зубах зверей,  
За лужу крови в спальне королей —  
Она тебе досталась не по праву.  
Ты был во мне, и лишь за это ты  
Великой удостоен темноты:  
Шотландии скалистые хребты  
Ты принял так же, как теперь — отраву.  
Тебя утешит, думаю, что рок  
Мой будет упоительно жесток,  
Что я перешагну через порог  
Величия и жизнь свою наполню  
Сюжетами для терпких мелодрам,  
Что честь свою беспамятству отдам.  
Да, будет так: я ничего не вспомню —  
Ни Босуэла черт, ни цепких рук.  
Абзац опять начнется словом ВДРУГ,  
Как будто нет ни логики, ни смысла,  
Как будто я жива, мой слабый друг,  
И топора глухое коромысло  
Не перебило красочный испуг.  
В отличие от тебя, я по счетам  
Своим плачу сейчас и здесь. Не там,  
Где Кто-то снисходителен некстати, —  
Когда убили Босуэла, я  
Металась в развороченной кровати  
На горестных осколках бытия.  
Но наступило утро. Каждый раз,  
Презренный мальчик, наступает утро,  
Мерцает, как рассыпанная пудра,  
И это так невыносимо мудро,  
Что это завораживает нас,  
Как будто новый день прощенье даст,  
И Босуэл поднимется из гроба,  
И встанешь ты, рассеян и глазаст,  
И вы зевнете удивленно оба.



Кто там стоит у закрытых ворот?  
Черный Эрот.  
Кто там скривил свой накрашенный рот?  
Черный Эрот.  
Самый бесхитростный бог на Олимпе,  
Чуждый душе, непокорный судьбе, —  
Он меня грубо толкает к тебе.  
Все, что во мне выплавлялось годами, —  
Глухонемые попытки добра —  
Он отправляет в бездумное пламя...  
Ты мне не нужен и ты здесь не важен,  
То, что ты значишь, важнее стократ.  
Черный Эрот, он — предвестник утрат,  
Он из замочных зияющих скважин  
Смотрит на нас, ослепительно рад  
Нашему скотству и нашему братству.  
Он да хранит свою скорбную паству  
От пробужденья и с ним — от стыда,  
Выжмет ее, как из тюбика пасту,  
В черные дыры, в Ничто, в Никуда.



Объем превращается в плоскость. Это и есть смерть:

Фотография, или плита, или, допустим, книга.

То, обо что можно биться, как бабочка,

на что дозволяют смотреть,

Но не слишком пристрастно; с чем говорить, но тихо,

Ибо речь, обращенная к тем, кто не отражает свет,

Заплывает риторикой, сразу омертвевает.

Вопрос, как забытая женщина, ждет ответа. Ответ

Никогда не является. Женщина забывает.

Что теперь, через месяц, мне делать с его лицом,

Глянцевитым и ярким, нарушенным фото пленкой,

Ничего не имеющим общего с тем франтом и гордецом,

Но зато имеющим немало общего с похоронкой?

Что? Хранить, как улику: ОН БЫЛ, ПОСМОТРИТЕ — БЫЛ!

Ну конечно был, говорят, ВОТ ПОБЫЛ И ВЫБЫЛ.

Он был враль, истец, безбожник, мудрец, дебил.

Он был — соль солей, а стал — пучеглазый идол

С выраженьем отсутствия выражения на лице

(Выраженье должно меняться). А фото-льдины —

Лишь упрек в даре зренья, сосредоточенном на мертвец,

Вероятно, уже безглазом под слоем глины.

## Отражение

Мы отражались в пианино, в чужой квартире,  
И ты сказал мне, засмеявшись: — Смотри, смотри,  
Как удивленно и смиренно лежат четыре  
Неярких тела: два снаружи, а два внутри.

Я повернулась к отраженью, привстав на локте,  
Свое неловкое движение на два деля,  
А в пианино... Обгорелый античный портик  
Окрасил памятью пожара двоих дела.

Откинув голову, смеялся, забыв причину.  
Твой смех подпрыгивал, как мячик, среди теней.  
И я, обняв тебя, смотрела, как мы в пучину  
Уходим. И чем дальше, глубже, тем лак темней.

# СОДЕРЖАНИЕ

## I

Ровесники . . . . .	9
«Что-то распалось, исчезло, ушло, изменилось...» . . . . .	10
«Ты черная дыра на панцире моем...» . . . . .	11
«Эвридей и Орфика, конечно, одно...» . . . . .	12
Вечер в Царском Селе . . . . .	13
Герой поэмы . . . . .	14
«Вокруг победоносное «чив-чив»...» . . . . .	15
«Гуще всех голосов, прихотливей былых потерь...» . . . . .	16
Упражнение №2 . . . . .	17
Феникс и Горлица ( <i>Очень вольный перевод Шекспира</i> ) . . . . .	19
Поэт Хлопушкин ( <i>Из цикла «Пантеон»</i> ) . . . . .	21
Поэт Плюшкин ( <i>Из цикла «Пантеон»</i> ) . . . . .	22
Поэт Пешкин ( <i>Из цикла «Пантеон»</i> ) . . . . .	23
«С одной стороны Новый Мир, Древний Рим, Чечня...» . . . . .	25
Визит в столовую университета . . . . .	26
Зарисовка . . . . .	27
«Погиб поэт. Точнее — он подох...» . . . . .	28
Переезд на Рубиновую улицу . . . . .	30

## II

Боязнь высоты . . . . .	33
Кофейня в Беркли . . . . .	34
Калокагатия . . . . .	36
Передышка . . . . .	37
Накануне дня рождения . . . . .	38
В свой день рожденья я иду на балет . . . . .	39
О преодолении языкового барьера . . . . .	41
История ритма . . . . .	42
Автобус номер 51М . . . . .	44
Примечание Мефистофеля . . . . .	46

Анаксимен . . . . .	48
Атлантида . . . . .	49
Приношение В. В. Набокову . . . . .	50
«Затемненное ночью окно отражает в полоску халат...» . . . . .	52
«... Он был моим любовником, когда...» . . . . .	53
Una furtiva lagrima, или 26 января 1996 года . . . . .	54
«Это не я сижу на балконе в осенний зной...» . . . . .	56
Памяти Алексея Ильичёва . . . . .	57
«Вот так и живу. К сожалению, счастья — вот так...» . . . . .	58
<b>ИЗ ЦИКЛА «ПЬЕТА»</b>	
«Жизнь сходится над Смертью, как вода...» . . . . .	60
Примета . . . . .	61
Очередной сон . . . . .	62
«Имя мое призови...» . . . . .	63
Последний разговор . . . . .	64
«Кто там стоит у закрытых ворот...» . . . . .	65
«Объем превращается в плоскость...» . . . . .	66
Отражение . . . . .	67

**В серии книг «Зеркало» вышли следующие тома:**

- **В. Яновский.** Поля Елисейские
- **Б. Ахмадулина.** Однажды в декабре
- **С. Гандлевский.** Трепанация черепа
- **В. Соснора.** Дом дней
- **Е. Шварц.** Определение в дурную погоду
- **А. Битов.** Дерево
- **С. Гандлевский.** Поэтическая кухня
- **В. Соснора.** Книга пустот
- **В. Соснора.** Камни NEGEREP
- **И. Бродский.** Горбунов и Горчаков

**В серии «Имя собственное»  
выпущены книги:**

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни

**Также предлагаем читателям следующие книги:**

- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **В. Кальпиди.** Ресницы
- **Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- **Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- **А. Еременко.** Горизонтальная страна

Все книги серий тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг  
обращайтесь в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24  
факс: (812) 273-52-56

## **В поэтической серии «Автограф» изданы:**

- **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- **В. Салимон.** Невеселое солнце
- **И. Лиснянская.** После всего
- **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- **Н. Кононов.** Лепет
- **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- **С. Гандлевский.** Праздник
- **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- **В. Дроздов.** Стихотворения
- **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- **А. Цветков.** Стихотворения
- **Д. Новиков.** Караоке
- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **Т. Кибилов.** Парафразис
- **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- **В. Салимон.** Красная Москва
- **В. Зельченко.** Войско
- **Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- **А. Битов.** В четверг после дождя
- **Л. Лосев.** Послесловие
- **И. Лиснянская.** Ветер покоя
- **В. Гандельсман.** Долгота дня
- **Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе
- **Т. Кибилов.** Интимная лирика
- **В. Павлова.** Второй язык
- **В. Кривулин.** Купание в иордани
- **М. Ерёмин.** Стихотворения
- **С. Кекова.** Короткие письма
- **Б. Ахмадулина.** Возле ёлки
- **Д. Новиков.** Самопал
- **Т. Кибилов.** Нотации
- **В. Соснора.** Куда пошел? И где окно?
- **С. Гандлевский.** Конспект
- **Б. Рыжий.** И всё такое...
- **П. Барскова.** Эвридей и Орфика
- **И. Лиснянская.** Музыка и берег

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг  
обращайтесь в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24  
факс: (812) 273-52-56

**Б 26**

**Барскова П.**

**Эвридей и Орфика: Стихотворения.** — СПб.: «Пушкинский фонд», 2000. — 72 с.

ISBN 5–89803–049–2

ББК 84. Р7

Барскова Полина Юрьевна

**Эвридей и Орфика**

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2000

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 04.04.2000 г. Формат 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,5. Заказ № 339.

**multiprint**  
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии  
«Полиграфический центр «MULTIPRINT»  
190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6  
Тел./факс 812 315 33 10

